

А н д р е й Т а в р о в

РОШДЕСТВЕНСКИЕ ГИМНЫ И ЗВЕРИ

СОЛДАТ-ЧЕРЕПАХА

Ничем не хочу делиться, потому что делиться нечем.

Все гробы пустые, все следы выветрились, а яблоки распались. Снег падает в зеленую воду бетонного бассейна, сквозь которую просвечивает старый ботинок и летняя трава, падает и гаснет. Где она теперь — белая сумасшедшая бабочка, вся из нескончаемой ночи и крыл Камаэля — ангела с Марса?

Солдат-черепаха ползет по стенке окопа, морщинистый от пыли, с твердыми глазами, в руке планшетка с расчетами и любовным письмом. Там же река Дон и школьный звонок.

Солдат-черепаха падает от взрыва, как подкова на дорогу, гремит и плюется, морда на прямой шее неподвижна, в тупом морщинистом срезе — ах, бабочки, кто б мог подумать, что сей есть муж скорбей! Прячется под каску, под череп, где же его мысли — а он сам и есть его мысли из слов и плоти, из крови и спермы, из глины и мрамора.

А он сам — голубой мрамор, Ниобея ледяная, сфинкс с полными губами, с цыганской улыбкой. Снаряды летают над трупами, кричат как лебеди, скользят, как корова на льду. Тычется ветер в тебя, как пуля, не дает упасть, потому что оловянная подлодка крутится в водовороте трех морей, а дождь стучит о зонт, и кот похрипывает в ногах. А по вершине шкафа кочует дракон детского сна.

Хоронить черепаху — в глине, в пласте слез, в медузе.

Вот что происходит — этот, с руками скульптора, мнет мокрую вату, вминая слой в слой, формую, углубляя, продавливая и выгибая. Вот что происходит — с черепахой, припавшей к пушечному прицелу неподвижным запыленным глазом, в котором гуляют танки и бухие золотые ангелы. Кто сцепил мои кости, кто выдавил череп, расчленил ноги на пальцы?

Мнет вату плоти, пейзажа, руки, ноги, облака, степь и мокрые танки.

А идут хрустальные младенцы, голенькие да звонкие, и несут гроб, в котором погоны да тупорылая морда, черная, пыльная, да лапы с когтями. Ах ты, сынок мой глинобитный, перепелочка-черепаха, не уходи снова в землю, пожалей свою маму, бабушку Дашку. Донесите его деточки, не коснитесь земли!

Покажите его Богу, меня покажите Богу, наш дом и платан, и бамбуковую рощу, где его кровать, и мост, и пыль-перепелку, и все на свете!

Вот кольцо бабки моей, цыганки моей — его покажу Богу, — ветер да шаль, да перст портняжий неба насквозь.

Ползет черепаха, садиться ночью на лоб, поет как ручей, хранит от кошмаров.

ВЕЛИКИЙ ИНКВИЗИТОР

Тогда я подумал, а как он выглядел, этот великий инквизитор? Каков был его внешний облик? Ведь есть же внешний облик у дыма, лица и летучей мыши. Внешний облик — это то, чего с точки зрения одного человека вовсе нет, но другой может посмотреть на него и вместо того, чтобы умереть, остаться живым, а потом еще и отыскивать этот облик в других людях и животных. Потому что решил, что в нем сила жизни и бессмертия, которую всегда хочется потрогать и не умирать больше.

Поэтому внешний облик располагается отчасти на подушечках пальцев, и, если вы ощупываете мертвое лицо, как какой-нибудь Гамлет трогал лик своей ненаглядной, то это оттого, что вам хочется вернуть ей ее внешний облик, который теперь стал внутренним, а она пошла за ним сначала вплавь по ручью, а потом еще дальше.

Все думают, что она лежит, а она идет так быстро, и столько с ней происходит всего сразу, что глаз человека, не вынеся такого количества бесплотных движений, а их бесконечное множество, и хоть каждое легче пера, но все вместе они как неподъемный Зевс из мрамора или смысл вселенной, — не вынеся Зевса и смысла, человеческий глаз хватается за привычное изображение мертвого тела. Только кто же видел мертвое тело, если это один обман зрения? Тела — все

живые, а то, что вы видите, — это один обман зрения от миллиона движений, которых глаза не вместить.

Так вот внешний облик инквизитора — это развевающийся флаг, потому что он все время говорит о свободе, которую он отобрал у народа, потому что народу не вынести своей свободы, и она для него нестерпимая пытка. Он очень красивый и похож на развевающийся флаг — синий с белым на флагштоке.

Он очень нежный, этот инквизитор, потому что автор его вымечтал как задушевную и глубочайшую свою идею. Свобода — это живая вода, а, не испив предварительно мертвой, как выпить живой — выпил и умер. Нет, сначала надо умереть, а не разглагольствовать, а потом уж впускать свободу. Вот как Офелия, например. Вот почему она плывет по реке, которая стала флагом и развевается в ветре, а в глазах инквизитора любовь, тоска и нежность.

Еще есть говорящий кузнечик и соломенный попугай, но они таторят редко, и все равно потом молчат.

Но свобода никому не нужна, потому что если ее взять, то кто будет чистить картошку или кувыряться в ламборджини, или еще в чем.

Вот и ныряет Офелия во флаге, а инквизитор развевается в ветре под музыку духового оркестра у порта.

Матросы маршируют, играя ленточками бескозырок в ветре, авианосцы переваливаются, вообще совершается так много быстрых движений, что мы принимаем их за что-то другое — корову на холме в Судаче или двух наездников, гонящих козу с горы. Иногда мы принимаем их за нашу жизнь. Только что может быть общего у Офелии и козы с нашей жизнью, когда это одна сплошная чепуха и наваждение, и тот, кого арестовал, а потом выпустил инквизитор, молчит, как тихий ручеек, по которому плывет распеваящая свои пустяки обманутая дева.

СЕЛЕЗЕНЬ

Если ты перевернут, и изумруд твой изнизан перьями, говори. Чему подобны слова и крики над заводью? Тому, как она раздвигается до мальчишеской руки, до женского плеча? Или перьям, высыпаящимся из тебя под ударом дроби и взгляда, но ты остаешься цел в превращениях.

Потому что семиствольная флейта содержит тебя и колышет в розовой ванне, в царской водке, откуда все истекает, откуда — рот и клюв. Потому сравню лапу твою с колесом телеги, скрипучей, недвижимой в оси. И сравню голову твою с китом-людоедом, поющим фистулой сквозь океан о том, что он сам человек.

Я нагромоздил столько слов — это светящиеся точки, на которых натянуты линии твоей жизни, селезень. Если не я, кто обновит тебя!

Я ведь готов отдать свою печень твоей синеве, и — отдаю, с тех пор, как родился. Зато ты кричишь изо льда и черной воды и медленно, как во сне, двигая ртом, говоришь хрипло и внятно: «Приди ко мне».

А я и не уходил — мы вместе вышли из превращений и вместе уйдем снова, не задев круга волн по пруду в опрокинутых фонарях.

И вновь оживем — линии натянуты, буква зажжена, слово расширяется в красную перепонку гребущей лапы. Бог уловил сам себя...

АВРААМ

Для того чтобы ты был один, нужно, чтобы ты был. Иначе, кто будет переживать одиночество. Но тебя все еще нет.

А пространство гнется в бараний рог, и путешествуют авраам и исаак по пустыне — тихо, бесшумно, незаметно, почти став буквами, из которых состоят их имена, почти утихнув, почти истаяв. И если б не буквы, кто бы удержал их сердца от таяния, похожего на таяние леденца во рту или льда на красном языке.

Белые рога агнца то закручиваются, то расходятся как пружинный маятник в открытом механизме часов.

Кто удержит нас от путешествия, в котором уже нет букв сохранить наши имена и наши тела?

Грудь что провалилась в необъятное, грудь Авраама, отеческая, белая, тщедушная — разве удержит ее хоть одна буква, хоть одно слово. Разве не растает там, где вход меж белых ребер.

Исаак, Исаак, не гони золотой обруч по синей пустыне. Сдержи серебряные бубенцы в горле. Разве мы не обречены на невозможное, если хотим хоть как-то быть? Разве не невозможны мы сами, как оловянный тигр или трехтрубный мальчик? Вот почему судорога и отцовская любовь — одно и то же. Разве не обречены мы на

судорогу времени в слезе — тихой и тающей. Разве не обречены на тысячи черных солнц, разрывающих уста рожениц и погружающих города на дно Аида?

Убить сына — войти в невозможное. И если войти в невозможное — убить сына, то ты убьешь его. Но в невозможном не умирают — ни розы, ни агнцы.

В невозможном ходит Рембрандт, трясет своей белой отвислой грудью, которая никого не вскормила, и плачет о сыне. А я лежу голый на полу коммуналки, и в спине у меня черная дыра веры.

Судорога сотрясает роженицу, и судорога предшествует смерти — дверь в дверь. И когда ты встретишься с испепеляющей бесконечностью и все будет напрасно, не становись Никем, как Улисс, испугавшийся циклопа.

Оставь от себя то, что не сгорит в огне флегетона, в миганье болотных огней — и иди. Иди тем, что от тебя осталось на огненную стену плача, на лавину невозможности.

То, что от тебя осталось, — разве не этого хотел Яхве от раба своего Авраама?

То, что от тебя осталось, — не все ли слезы мира, не весь ли его отчаянный вопль?

То, что от тебя осталось, — не бездна ли, из которой взойдут все райские миры и родится новое небо? Не все ли родятся из нее заново?

Мужество воспрепятствовать исчезновению в твоём Высшем. Ибо оно и есть твоё Высшее. То, что осталось, когда ты сгорел.

Начало огня, начало тел, плач Авраама, выбитый ягненком нож. Улики творения.

